УЖАС

Ровно 155 лет назад в провинциальном купеческо-богомольном городке Арзамасе Нижегородской губернии произошло событие, которое круто изменило жизнь и мировоззрение крупнейшего русского писателя Льва Николаевича Толстого…

Скособоченные домишки – первый этаж каменный, второй деревянный, гуси разговорчивой толпичкой отражаются в мутно-зеленом гайдаровском прудике, сирень шелестит под ветром жестяной осенней листвой, ласточки гоняют молодняк, готовясь к отлёту… купеческий старинный городок. Если бы не иномарка у крашеного забора да не тарелки антенн, там и сям прилепившиеся к красным крышам, – девятнадцатый век. Странно брести по кривоватым улочкам старой части провинциального Арзамаса и знать, что ровно по этим же улочкам мог прогуливаться сам Лев Толстой. Впрочем, не прогуливался – спешил по делам и по «попутному» Арзамасу, скорее всего, праздно не разгуливал, да и воспоминания об этом случайном в его жизни городке остались у него весьма мрачные…

Обычным погожим сентябрьским утром 1869 года великий писатель, любимый муж, граф, богатый помещик отправился в веселом настроении в Самарскую губернию для приобретения нового имения, «движимый любовью к семье и хозяйству». «Ехали на лошадях, весело болтали». Наступила ночь. Тут, кстати, и подвернулся тихий городок Нижегородской губернии – Арзамас. Здесь после трудной дороги писатель решил заночевать в плохонькой гостиничке в нижней части города.
То, что произошло той ночью, Толстой описывал не раз, и событие это вошло в историю под названием «арзамасский ужас».

«Я задремал, – пишет Толстой, – но вдруг проснулся: мне стало чего-то страшно. Вдруг представилось, что мне не нужно, незачем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте. И мне стало жутко. Я взял подушку, – пишет дальше Толстой, – и лег на диван. Когда я очнулся, никого в комнате не было, и было темно. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать.
Я вышел в коридор, думал уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же, еще больше страшно было.

– Да что это за глупость, – сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь?

– Меня, – неслышно отвечал голос смерти. – Я тут.

Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска душевная, жутко, страшно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать».

В свое время, читая описание «ужаса», я удивлялся: ну, бывает – дурной сон, кошмар, депрессия… Отчего же событие это так поразило Толстого, что довольный жизнью, успешный, как бы сейчас сказали, автор величайшего романа в мире в один миг оказался в глубочайшей душевной растерянности. «Зачем мне все это, если смерть неизбежна?» –
спрашивает он. Потом в «Исповеди» Толстой разовьет рассуждения на эту тему:

Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом? И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, ну, и что ж?» Зачем это все, если смерть неизбежна.

После «арзамасского ужаса» писатель стал другим человеком. Он отходит от земных благ, отказывается от европейской одежды, приходит к мысли о ненужности писательской деятельности (правда, ему не удалось отказаться от литературы, и он создал еще много больших произведений, включая «Анну Каренину», «Воскресение», «Хаджи-Мурата») и погружается в размышления о смысле человеческой жизни. После «арзамасского ужаса» Толстой пришел к логичному осознанию: жизнь бессмысленна.

Но как же тогда живут миллиарды простых людей и не убивают себя, если жизнь бессмысленна? – спрашивает Толстой. И не отыскав внятного ответа, обращается к вере. – Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием Бога.

Дальше общеизвестно: Толстой погружается в православие, начинает посещать церковь и исполнять все обряды, «опрощаться», основательно изучает жизнь и учение Иисуса Христа…

Суть происшествия, и его последствия казались мне несоизмеримыми. До поры до времени…

Но что-то подобное происходит, очевидно, со многими людьми, невзирая на степень таланта, возраст, убеждения или интеллектуальный уровень. Отчего? Или для чего? Сигнал свыше? Указующий перст? Знамение? Ответов может быть много. Так или иначе, но мне довелось испытать нечто подобное, и я совсем другими глазами посмотрел на арзамасское происшествие…

До Аргуна я добирался сутки. Военный борт вместо того, чтобы лететь по маршруту Нижний Новгород – Моздок, волей неведомого мне начальника отправлен был в Саратов, где полдня простоял на взлетке с распахнутой «задницей» на ледяном январском ветру – грузили БТР, какие-то ящики, мешки и отчего-то письменные столы. Борт в Чечню был «крайним» в этом году, и его «завернули» еще и в Москву за новогодними подарками для «чеченского контингента», и там мы вновь несколько часов стояли в тридцатиградусный мороз, пока в брюхо Ила загружались замерзшие ёлки и тюки с подарками.

В общем, когда я вошел в теплую казарму аргунской комендатуры, я сам был похож на заледенелую ёлку, а в душе осталось единственное желание – рухнуть на койку поближе к печке и уснуть мертвым сном…

…Утренняя казарма поразила меня своей безлюдностью. Я шел по длинному гулкому коридору с зубной щеткой и бритвенным станком в кулаке, когда из-за угла навстречу мне вышла женщина. Черный платок на голове, черное платье, темное лицо. Чеченка? Она шла навстречу и, глядя мне прямо в глаза, широко улыбалась. Невольно я улыбнулся в ответ. Но, уже проходя мимо, вдруг осознал, что улыбка встречной – откровенно злобная и совершенно жуткая.

Я вошел в туалетную комнату, мимоходом подивившись, что в казарме оказалась чистая индивидуальная кабинка с хорошим умывальником и зеркалом. Запер за собой дверь на накидной крючок, достал бритвенный станок, поднял глаза к зеркалу и – чуть не задохнулся от ужаса, увидев в зеркале отражение женщины у себя за спиной! Смотрит из зеркала мне прямо в глаза и все так же жутко ухмыляется. Но я же запер дверь! Уронив бритву, резко обернулся – никого нет!

Боясь снова взглянуть в зеркало, протягиваю руки вперед, и тут что-то невидимое, но очень агрессивное и сильное стало меня ломать и душить. Весь в холодном поту, я сопротивлялся из последних сил и только твердил про себя: «Главное – не сойти с ума, главное – не сойти с ума…» В какой-то момент я вдруг четко осознал, что борьба идет не физическая, что это моя душа борется с чем-то, чему нет ни названия, ни определения, ни описания. Ужас и тяжесть борьбы были невероятными. Нечто вязкое, неумолимое и мощное, как удав, силилось проникнуть в меня, лишить меня воли, сковать тело, высосать мозг. Ледяной холод охватил меня до самой последней клеточки. И когда я понял, что легче умереть, чем потерять душу, – все пропало. С неимоверным облегчением я словно бы всплыл с огромной глубины и, открыв глаза, увидел лица склонившихся надо мной офицеров – соседей по кубрику…

Я встал с кровати и совершенно измочаленный пошел умываться. Коридор был абсолютно не похож на тот, что был в видении (просто не могу назвать это событие сном или кошмаром!), да и никакой отдельной туалетной кабинки в казарме, конечно, не было. Умываясь, глянул в зеркало и обнаружил на шее, груди и руках пятна синяков… До сих пор я уверен, что нечто (все равно где – во сне или в другом измерении) пыталось отобрать у меня душу и что если бы я тогда сдался, утром меня нашли бы в постели мертвым…

Тот «аргунский ужас», пережитый в одной из чеченских командировок, и заставил меня по-новому взглянуть на происшествие, приключившееся с Львом Толстым в Арзамасе.

Уже потом, значительно позднее, копаясь в биографиях совершенно разных людей, я неожиданно обнаружил, что похожее событие произошло и с Николаем Васильевичем Гоголем.

В письмах друзьям из-за границы он жаловался на страшный приступ, случившийся с ним в Вене («болезнь», весьма похожую на «арзамасский ужас»). Он рассказывал о «нервическом расстройстве», раздражении и неописуемой тоске, от которой не мог и двух минут остаться спокойным:

Гемороид мне бросился на грудь, и нервическое раздражение, которого я в жизнь никогда не знал, произошло во мне такое, что я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Уже медики было махнули рукой, но одно лекарство спасло меня неожиданно: я велел себя положить Ветурину в дорожную коляску – дорога спасла меня.

(1840 год, 30 октября)

Сопоставляя припадок в Вене с дальнейшим поведением Гоголя, с его завещанием, можно явно заметить, что он осложнялся и сопровождался страхом смерти. Совершенно ясно, что Гоголь в Вене явно пережил нечто весьма схожее с «арзамасским ужасом» Л.Н. Толстого.

Гоголевский «венский ужас», как и толстовский, имел огромное влияние на судьбу писателя. Заметно изменился после него тон переписки. Гоголя уже не увлекает Рим. Ему хочется дороги, дороги, дороги. Он не может получить удовольствия ни от Колизея, ни от величественного купола знаменитого собора Святого Петра, ни от других «южных» экзотических красот, его непреодолимо тянет в Россию. «Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни». Все чаще и чаще встречаются с тех пор в его письмах искренние уверения в том, что работой его руководит Бог, а тяжкие испытания – на пользу, поскольку дают его слову «неземную, чудесную силу»: «Создание чудное творится и совершается в душе моей…»

Пережитый в 1869 году в плохонькой арзамасской гостинице «ужас» –
«красный, белый, квадратный, раздирающий душу на части» – стал центром, из которого выросло все мировоззрение позднего Толстого. Это потрясение настолько отличалось от всего того, с чем приходилось писателю сталкиваться прежде, что все последующие приступы такого рода он называл «арзамасской тоской».

Позже, в 1884 году, Толстой начал писать повесть «Записки сумасшедшего», которую так и не закончил, хотя возвращался к ней с 1887 по 1903 год. В ней подробно описаны не только «арзамасский ужас», но и последовавшие за ним «московский» (после посещения театра в гостинице Толстой «провел ужасную ночь, хуже арзамасской… Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом») и «ужас на охоте», когда на него «нашел весь арзамасский и московский ужас, но в сто раз больше».

Порой жизнь подбрасывает нам что-то странное, действительно трудно описываемое словами, что, может быть, и можно объяснить просто, но душа такого объяснения не приемлет. И человек меняет взгляд на привычную рутину, на суетность и бесцельность существования.

. . . . .

*…Я вышел на незнакомой станции, пошел по перрону: нигде ни одного огонька, ни одного указателя, только состав черной стеной возвышался сбоку. Вышла из-за облака луна, и стало светло, как днем.
И тут я увидел у себя под ногами… человеческую голову! Голова была припорошена снегом, но глядела прямо на меня живыми глазами. Задыхаясь от ужаса, я обернулся на свой вагон, чтобы кого-нибудь позвать, но вдруг обнаружил, что все двери заперты!*

*И тут голова подняла брови и, ясно глядя мне прямо в глаза, сказала:*

*– Кому война, а кому мать родна… – а потом совсем не к месту, – как насчет завтрака?*

*Я вынырнул из бреда, задыхаясь, словно из глубокого темного омута. Стучало в груди, стучало в висках, стучали колеса под полом вагона. Надо мной склонилась проводница:*

*– Товарищ корреспондент, как насчет завтрака? Вам сюда принести, или в вагон-ресторан пройдете?*

*Потом я сидел над утренним кофе, рассеянно смотрел на пробегающий за вагонным окном пейзаж и размышлял о том, какие шутки выделывает с нами память. Эту приснившуюся голову я увидел когда-то на плацу военной комендатуры в Аргуне. В «междусобойных разборках» боевики убили тогда местного эмира, а голову подбросили к мечети. Она валялась на площади, словно футбольный мяч, и мне с трудом верилось, что все происходит не во сне…*

Эту запись я сделал через несколько лет после того, как увидел ту отрубленную голову в Чечне, когда ехал в сугубо мирном поезде в мирную командировку в Грозный. И поразило меня как раз то, что «во сне» ощущение ужаса было многократно сильнее, чем тогда, наяву… Поневоле в сознании рождается «теория», что всё это не случай, не игры мозга и памяти. Словно в какой-то определенный момент жизни нечто свыше (из глубин ноосферы, быть может) напоминает: ты смертен! Подумай, кто ты? Зачем живешь? Чему учит тебя все то, что встречается тебе на пути? А чтобы мы не увиливали, не отворачивались, не отмахивались, облекает это в такие формы, что забыть и отмахнуться просто невозможно!